

Таисья Тишь



Наследие
графского рода

Таисья Тишь

Наследие графского рода

<https://litres.ru/74316057>

SelfPub; 2026

Аннотация

Молодой аристократ возвращается с войны домой. Ни семьи, ни невесты — только следы, говорящие, что они живы.

Он отказывается смириться с потерями и найдёт свою Мари — вместе с тем, что от него скрывали.

Выдержит ли любовь такую правду?

Содержание

Глава 1. Домой	4
Глава 2. Кабинет отца	11
Глава 3. Старик	18
Глава 4. Перед дорогой	24
Глава 5. В поезде	33
Глава 6. Ласточкин остров	41
Глава 7. Дорога обратно	51
Глава 8. В конторе Сергея	55
Глава 9. Свет в окне Ершовых	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Таисья Тишь

Наследие графского рода

Глава 1. Домой

Повозка подъезжала к дому ближе к полудню. Даже на постоялом дворе не удалось успокоить мающееся внутри нехорошее чувство: если крах, то уже непоправимый. Юра не сомкнул глаз больше двух суток, не мог, хоть убей. Не из-за тряски, не из-за ухабов, припечатывающих спину к жёсткой стенке. Спать сидя, стоя, под грохот орудий он давно научился. Но сейчас внутри всё дрожало мелкой, противной дрожью, будто перед решающей атакой, когда от твоего выстрела зависит всё, и ты ждёшь, замерев, целишься в темноту, а темнота не отвечает.

Все мысли снова только о доме. Не просто воспоминания, а жадные, лихорадочные запросы в пустоту: где они? Почему молчат?

Чем ближе была точка назначения, тем острее ожидание. Словно не было этих лет, когда надежда гасла с каждым новым бессодержательным ответом на его запросы.

Будто Юра не выбрался наконец из колодца войны, а возвращается на несколько лет назад, когда он всё ещё ждал отклика, весточки. И верил, что дотянется.

В то время, когда он отправлял письмо за письмом и не получал ни строчки в ответ. Ни единой: ни от матери, ни от Мари, ни от Володьки. И главное, из инстанций так и не было получено ни статуса «мёртв», ни «пропал без вести». Даже по родственникам. Что говорить о Мари, ведь и помолвки не было. Для любых чиновников любимая была лишь поводом для отписки.

Чистая, сводящая с ума неизвестность. Как если бы дорогих ему людей просто вычеркнули из всех списков, оставив только глухое молчание, в котором тонут любые сигналы. Это изводило сильнее любого ожидания боя: не знать, имеешь ли ты право уже скорбеть, или ещё нужно бороться. Гадать, ждут ли тебя, или твоя надежда лишь пустой звук, бьющийся о закрытые двери.

Рука, травмированная на мортيره, привычно ныла к перемене погоды, но пальцы слушались, не дрожали. А вот сердце колотилось где-то у самого горла, заглушая стук копыт. Это было не просто ожиданием, а голодом: по лицам, голосам и прикосновениям. Он почти физически ощущал, как сжимает ладонями плечи матери, как хлопает друга по плечу и прикасается к Мари, уткнувшись лицом в её волосы. Этого просто не может не случиться.

«Лишь бы они были живы. Пусть это молчание будет чудовищной ошибкой, нелепой бюрократической оплошностью, чем угодно, но только не финалом».

Он цеплялся за воспоминания, перебирая их, как чётки, и

каждое отдавалось одновременно и теплом, и острой болью надежд, которые могут так и остаться неоправданными.

Вот мать берёт его под руку, вот Володька давится смехом над его шуткой. Мари... Её взгляд исподлобья, когда она говорила что-то серьёзное, а потом вдруг улыбалась, и любая неприятность трескалась по швам, а мир вокруг затапливался светом. Все эти годы на фронте любимые ему только снились. А теперь он почти дома, только протяни руку.

И это «почти» скручивало нервы в жгут, натягивало их до предела как тетиву лука. Казалось, внутри всё вибрирует, тронь и лопнет. Он не хотел больше ждать. Юра хотел разорвать пелену неизвестности зубами, если придётся. Убедиться, понять и найти.

Оба дома, их и Ершовых, показались из-за поворота. Юра вцепился взглядом в окна, высматривая хоть огонёк, хоть тень или малейшее движение. Но те стояли с закрытыми ставнями, в траве по колено, заброшенные. Ни дымка, ни отблеска лампы. В груди что-то оборвалось и зазвенело, но он не дал этому звону перерасти в погребальный.

«Нет. Неправда».

Он спешил, закинув сумку и планшет через плечо. Извозчик тронул, Юра даже не оглянулся, так и оставшись перед заросшими высокой порослью воротинами. Петербургский особняк казался богом забытой усадьбой где-нибудь в глухом уезде. Таких он тысячи видел по дороге: разрушенных или вот таких, покинутых и тихих.

«Они живы. Просто что-то случилось, дурацкое, но поправимое, то, что можно размотать, как спутанный клубок, если найти кончик нити. И я его найду. Нет других вариантов».

Калитка Ершовых была увенчана замком, выглядевшим намного новее самого дома. Юра вернулся взглядом к воротам Безруковых. Те были прикрыты; он толкнул их, и они проскрипели несмазанными петлями, словно старуха-гадалка, предвещающая путнику беду. Небольшой сад давно запущен. Окна первого этажа были закрыты ставнями, где-то забиты досками, а второго завешены, и тёмными дырами глазниц таращились на дождливый Питер и запоздалого визитёра.

Юра сглотнул нехорошее предчувствие вместе с комом, вставшим в горле при виде заколоченных окон, внутри что-то оборвалось, но он силой запихнул свою воющую тревогу куда-то глубоко. Вслед за этим тут же поднялась волна злости: он не отступит. Не для того он сюда добирался, чтобы испугаться забитых досок.

Сад был мокрым. Сапог, словно назло, угодил в глубокую лужу у крыльца. Холодная жижа тут же промочила портянку. Юра брезгливо сморщился и замер, глядя в мутное отражение, в котором угадывалось бледное пятно его лица. И вдруг, будто из самой глубины тёмной воды, всплыл зловещий обрывок из сказки Арины Петровны, той, где герою нельзя было смеяться:

«Не пей, забудешь слово. И помни, Юрочка, коли забудешь слово, то навек таким и станешься».

Голос няни, напряжённый, полный суеверного ужаса. Тогда Юра смеялся, слово-заклятье «мутабор» почему-то казалось ему слишком забавным, и когда оно звучало, он невольно прыскал. А няня шикала и читала дальше, пытаясь навешать на мальчишку должного ужаса.

Сейчас же, стоя у порога пустого дома, он понял этот ужас по-новому. Что, если он и вправду забыл слово? Забыл то самое, которое должно всё вернуть на круги своя. И теперь застрял в этом уродливом, неправильном превращении один, в глухой тишине под питерской послевоенной моросью.

Эта мысль на секунду обдала холодом, но он яростно потряхнул головой. Нет. Он ничего не забыл. Он всё ещё помнит каждое лицо, каждое имя, каждую мелочь. Никакой мистики, только правда, до которой нужно докопаться. Он отдёргнул ногу из лужи, и холодная вода чавкнула, отпуская. Хватит гадать.

Недолго думая, он нашёл ключ. Тот по-прежнему лежал под битым кирпичом, будто и не было этих восьми лет, ни окопной грязи, ни вонь госпиталей, ни воя шрапнели, вырезавшей из памяти саму возможность тишины и размеренности. Замок не сменили, и это было хорошим знаком. Дом ждал своих.

Тяжёлая дубовая дверь со скрипом поддалась. Звук был таким громким в глухой тишине, что он инстинктивно ша-

рахнулся в сторону, прижавшись к косяку, старая фронтовая привычка. В ответ только эхо, раскатившееся по пустым залам.

Юра отлип от косяка и резко шагнул внутрь.

Оказалось, победа имела горький вкус, с запахом плесени старых сундуков. Она пахла не парадным порохом, а густой пылью забвения. Луч сентябрьского солнца, пробившийся сквозь щель в ставне, освещал миллионы кружащих частиц — целый мир, живший своей жизнью в его отсутствие. На мраморном столике в прихожей лежала забытая перчатка.

Материнская.

Тончайшая лайка, покрытая серым налётом. Юра поднял её, и что-то в груди сжалось, но не глухо, а звонко, требовательно. Это была не точка, а знак вопроса. Знак того, что она была здесь. Что жизнь оборвалась не сама собой, её прервали.

— Никого, — прошептал он голосом, осипшим от табака и молчания.

Не крикнул, не позвал. Просто констатировал. Дом был мёртв.

И эта смерть была страшнее любой, виденной им на фронте. Там она была громкой, очевидной. Здесь она была тихой, коварной, въевшейся в портьеры и паркет. Там смерть забирала жизнь. Здесь у него украли смысл, ради которого он тащил эту жизнь через все круги ада.

Юра сжал перчатку в кулаке. Лайка тихо хрустнула, и этот

ничтожный звук вернул его в реальность.

«Вот уже нет. Люди не исчезают, оставив фамильное серебро и лайковые перчатки у входа. Что-то случилось. И разбираться надо не в прихожей, а там, где отец хранил всё самое важное».

Он быстро пересёк холл и направился в кабинет отца.

Глава 2. Кабинет отца

Он вошёл, ожидая увидеть священный порядок под благородным слоем пыли, замершую во времени, непоколебимую крепость.

Но мозг на секунду отказался складывать картинку.

Комната была выпотрошена.

На стенах остались яркие прямоугольники от снятых карт, гвоздики торчали, как обломки рёбер. Книжные шкафы зияли пустотой: ни собраний исторических монографий, которыми отец так гордился, ни книг по юриспруденции, ни подшивок журналов. Полки были пусты и вымыты до белизны. С витрины для наград исчезло всё, даже бархатные подушечки. Остались лишь несколько жутковатых светлых пятен.

Отец не просто ушёл. Он демонстративно, до последней медали, вывез себя из этой жизни.

Но посреди этого опустошения царил жалкий, вымученный порядок. На голом столе лежала одинокая, идеально ровная стопка бумаг, исписанные материнским почерком листы, прижатые дешёвым мраморным пресс-папье, не отцовским тяжёлым бронзовым орлом. Рядом стояла склянка с желтоватой жидкостью и лежала засохшая тряпка. В воздухе висел едкий шлейф мыла, уксуса и... отчаяния.

Мать.

Она не просто заняла кабинет. Она вела здесь свою тихую

войну на уничтожение. Мыла, скребла, вытравливала каждый атом его присутствия. Но её собственная жизнь не заполнила пустоту, а лишь обнажила её, как убогий лазарет после сражения.

Юра машинально взял верхний лист.

Домовая книга. «Безруков Александр Петрович. Выбыл...» Адрес. Дата.

Под ней были счета, расчёты, жалованье прислуге. Бюджет выживания одинокой женщины.

А под пачкой векселей лежал конверт, притягивающий взгляд. Почерк он узнал сразу:

Контора поверенного Р. Л. фон Берга...

Юра побежал глазами по строчкам.

«...очередного полугодового содержания... согласно приложенному табелю расходов... напоминаем об установленном вашим супругом ежемесячном лимите в триста рублей на сугубо личные нужды... всякое превышение потребует отдельного письменного ходатайства с подробным обоснованием необходимости... дабы не обременять Александра Петровича...»

Лимит.

Отец установил лимит своей жене. Как малолетней наследнице или несостоятельной должнице. И делал это через поверенного, даже не удосужившись писать ей сам.

«Дабы не обременять...»

Жёстко. Даже слишком.

Что же такое мать могла совершить, чтобы быть так наказанной? Он ведь её любил. «Моя Аня» — Юра помнил. Откуда тогда эта канцелярская казнь? Со временем нежности могли уйти, но чтобы вот так...

Голова отказывалась складывать внятный сценарий её вины. А что, если вины и не было? Если причина была не в ней, а... в ком-то другом?

Взгляд сам собой дёрнулся к окну угрюмого дома Ершовых.

«Нет. Бред».

Но именно в этот момент Мари ударила в память так остро, будто стояла у него за спиной. Она к этому кабинету не имела никакого отношения. Никогда не бывала здесь. Но её отсутствие чувствовалось сейчас острее всего, как единственная настоящая, необъяснимая боль в этом бумажном, аккуратном, мёртвом аду.

Где она в этой бухгалтерии разрыва? В какой графе? «Выбыла»? Или её имя было тем, что вообще не попало ни в одну ведомость? Тем, о чём в этом доме старались не думать и не писать?

Он представил её не здесь, а там, в соседнем доме, который маячил за окном тёмным, слепым пятном. Она должна была быть там. Услышать стук колёс, выглянуть...

Рука сама потянулась к внутреннему карману, где лежала её записка.

«Прочти, потом обсудим».

И память, вероломная и спасительная, выбросила его из ледяного кабинета в лето, полное жары и смеха.

Мари в детстве была хоть и округлой, но невообразимо живой. Милovidность обманчива, характер — нет. В отсутствие матери она не сломалась, а закалилась. Ей было лет четырнадцать, и дворовые девчонки уже пытались её уколоть: мол, нижняя часть тяжела, не прыгнет.

Мари не спорила. Подошла к дереву, пригляделась, закинула ногу на нижнюю ветку и вспорхнула на верхнюю так, как не смогла бы длинноногая жилистая Катька, дочь конюха. Соскочила, не стесняясь, сделала смешливый реверанс, сморщила нос, высунула язык и расхохоталась, запрокинув голову.

Друг сиял, как начищенная монета.

«Съели!» — фыркнул Володька, брат всегда сестрой гордился.

А Юра уже шёл к ней с ромашками, нарванными заранее. Тогда ему просто хотелось, чтобы в любом случае ей не было грустно или обидно. О том, что он всё-таки сцепился с Катькиным братом из-за неё, он тогда говорить не стал, как бы больна рука ни ныла.

Взгляд снова упал на бумаги, и яркая вспышка живой памяти рассыпалась.

«Обсудим».

Идиотское, прекрасное слово. Оно предполагало будущее, разговор, общий смысл. Всё то, чего не было в этой

комнате, где формой общения стали циркуляры о лимитах и подписи под денежными переводами.

А если и их с Мари письма стали такой же «неучтённой статьёй расходов»? Если их, как отцовские книги, просто вынесли и выбросили, потому что они нарушали новый порядок?

Юра бросил бумаги на стол. Те, шурша, упали.

Вот, значит, материнское оружие. Не слёзы, не скандал. Уксус и мыло. И бессильная ярость, с которой она тёрла эти полки, пытаясь стереть не столько отца, сколько собственный позор.

А его оружие?

У него не было тряпки. Только записка в кармане и невысказанные слова, которые жгли горло, как тот самый уксус.

Он проверил ящики стола. Перья. Писчая бумага. Промокашки. Какой-то мелкий мусор, который раньше без разговоров выбрасывался, а теперь был аккуратно сложен в стопочку.

— Мелочь, вдруг пригодится? — недобро усмехнулся он пустой комнате.

На дне последнего ящика, под слоем промокашек, лежал лист.

На нём крупным, но странно неровным почерком было выведено сухое, казённое:

«Матери и брату не пишу по причинам, которые они поймут. Остаюсь здесь. Не ищите. Пётр».

Юра замер.

Сердце коротко, глухо ёкнуло. Значит, брат жив? Не сгинул в чекистских подвалах? «Остаюсь здесь». Где здесь? И почему эта ледяная, чужая строчка вместо всего, что можно было написать?

Он вздрогнул, вспомнив тот выбор наименьшего ужаса из имевшихся, перед которым стоял сам, в свою бытность военспецом. И разозлился на себя, на реакции своего тела, на память и рефлексy: он усилием разжал кулаки.

Что-то царапнуло память, когда он вгляделся в эти строки, но Юра так и не понял, что именно. Записка была сложена пополам, на ней не было ни адреса, ни даты, ни должной подписи: из ниоткуда в никуда. Бумага была той же самой, фирменной, с водяным гербом Безруковых, что и счета в стопке на столе, будто кто-то взял листок из отцовского блокнота и написал на нём чужой, ледяной приговор.

Пальцы сами потянулись к бумаге. Он взял её, и странное ощущение скользнуло под кожей: это был не голос брата. «Матери и брату» — не «маме и Юрке». Не письмо. Не записка. Справка об отказе от родства. Бумага с похоронным оттенком.

Юра ещё раз прочёл. Нет. Так Петя не писал бы никогда.

Он сложил листок и убрал его во внутренний карман, туда же, где лежала записка Мари. Два клочка бумаги. Две пропажи. Одна была с надеждой на «обсудим». Другая с приговором «не ищите».

Воздуха в лёгких не хватало. Он резко выпрямился.

Все нити в этом доме либо вели в никуда, либо к ней, к единственному, что не поддавалось ни бухгалтерии, ни вытравливанию.

— Чёрта с два, — выдохнул он в тишину.

Нельзя исчезнуть бесследно. Люди — не книги с полки. Особенно она.

Он развернулся и вышел из кабинета. Теперь ему было мало правды. Хотелось найти и наказать за всё невысказанное, за всё сломанное, за этот бумажный, ледяной ад. Первым пунктом был сосед. Тот должен был видеть. И тот должен был знать.

Глава 3. Старик

Юра распахнул соседскую калитку, такую же скрипучую, как их собственная. Сад встретил его бурьяном и сыростью, но в двух окнах у Вороховых горел свет.

Дверь открыла девочка лет тринадцати в простом платье и фартуке. Испуганно скользнула взглядом по незнакомому военному.

— Юрий Безруков, ваш сосед. Я к Василию Игоревичу.

Она коротко кивнула и махнула рукой в сторону приоткрытой двери в комнату на первом этаже, откуда лился свет.

«Дочка кухарки, — догадался Юра. — И никого из самих Вороховых. Негусто. Старик совсем один?»

Из кухни донёсся стук крышки кастрюли. Аромат похлёбки смешался с запахами старого дерева, пожелтевших газет и лекарственной настойкой.

Юра толкнул плечом дверь.

Василий Игоревич сидел в кресле у потухающего камина, укрытый клетчатым пледом. На столике рядом стоял недопитый чай, и лежали очки с одним треснувшим стеклом. Мужчина не обернулся, только глухо произнёс, будто продолжая давний разговор с самим собой:

— Уехали все. Все... к чертям... на рога...

Юра замер на пороге. Слова падали в тишину, как камни в колодец. Господи, только бы он был в уме.

— Василий Игоревич, — позвал он.

Старик медленно повернул голову. Мутные от катаракты глаза долго искали фокус. Потом в них мелькнуло узнавание, а за ним уже облегчение.

— Юра?.. Живёхонек, командир?

В этот момент в комнату вошла девчонка.

— Василий Игоревич, я закончила. Завтра утром приду попозже, через рынок, но всё успею.

Она скользнула взглядом по Юре и тут же опустила глаза.

Старик махнул рукой:

— Катя. Соседская. Мать её на фабрике сгибается, а она мне похлёбку да пол подмести. За пятак. С неё одной и вести бывают... Дочка-то моя с мужем под Ригу подалась, фельдшерницей. А он, зять-то, там и остался... Вот и доживаю... Как песок на отливе. Всё выносит, всё уносит...

Мысль Юры на миг отлетела от собственных бед. Как тот берег на Балтике, голый, источенный, пахнувший тиной и гнилью. И ждёт прилива, который смоет эту грязь и залижет раны. Только прилива этого всё нет и нет. И таких «берегов» по всей стране миллионы. Война не просто забирает молодых, она обездоливает стариков, оставляет их умирать в пустых домах с чужой девочкой у порога.

Но жалость была роскошью, которую он сейчас не мог себе позволить.

— Жив, — коротко бросил он, делая шаг в комнату. — Где все?

— Мамка твоя не хотела, — прошептал Ворохов, опускаясь обратно в кресло. — Да коли Саша сказал, ты же понимаешь, не поперечишь...

В груди у Юры что-то ёкнуло. «Саша». Так по-свойски отца называли только в прежние, давно ушедшие времена.

— А куда уехали? В имение? — Мысль вырвалась сама собой, последний оплот здравого смысла. Конечно, в имение. Спасаться от войны, от беспорядка...

Старик качнул головой.

— Да кто куда...

Терпение Юры, и без того натянутое, как струна, лопнуло. Он подошёл ближе, и его тень накрыла кресло Ворохова.

— Василий Игоревич, — он произнёс каждое слово с ледяной чёткостью, за которой кипела ярость. — Кто. Куда. Уехал? Мне нужно знать всё. Об отце. О матери.

Он не произнёс имени Мари. Оно застряло в горле горячим комком. Но старик, кажется, и без того услышал.

— Матушка твоя... жива. На Ласточкином острове. Одна. Слово повисло в воздухе.

— Одна? — тихо переспросил Юра. — А отец?

Старик сжался в кресле, будто его ударили.

— Не мне тебе это рассказывать, капитан. Доедешь — узнаешь сам...

Юра наклонился, поставив руки на подлокотники кресла.

— Как есть говори, Василий. Чай не сахарный. Что знаешь?

Под этим взглядом, под этой сдержанной силой, сопротивление старика дрогнуло.

— Мать твоя... убежала, — прошептал он. — Дали шанс, вот она и убежала. Жалко мне её. Добрая гордячка, сильная. Всё равно вас с Петькой ждёт. Эх, знать бы ей, что жив...

Вот это и доконало Юру.

— Что значит — жив?! — вырвалось у него. — Я писал! Писал, считай, каждый день! Где они, эти письма?! Где, я спрашиваю?! Ни одного ответа! Почему никто ни разу не ответил?!

Он кричал не на старика. Он кричал в пустоту, в прошлое, в восемь лет тишины. Слова вылетели оружейным залпом, и тело будто обмякло. Юра вздохнул. Давно он так не срывался.

Василий Игоревич съёжился, но не от страха — от жалости.

— Юр, не кричи... Опечатаны поместья, оба. А здесь же, сам видишь, никто не жил.

Проклятая, железная логика. Но она не объясняла главного.

— Так письма-то?..

Старик отвёл глаза.

— Видел, как достают. Раз в седмицу. В дом уносят. Там слуга пришлый, не наш. Больше ничего не знаю. В соседнем доме тоже пришлый Сенька шастает, раз в семь — десять дней. Проверяет, не растащили ли.

У Юры внутри что-то щёлкнуло.

Не случайность. Система.

— А Мари Ершова? — выдохнул он. — Вы её не видели?

После того как...

Старик покачал головой, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на понимание. Он помнил, как эти дети смотрели друг на друга. Дураку было понятно.

— Вольдемар-то... Володька твой... тогда же, как и ты, с эшелонам отбыл. А дом... С тех пор, как Мари с Сергеем Мироновичем умчали, свету не было. Кроме пришлого Сеньки, никто не являлся.

Умчали.

Не уехала. Не вышла замуж. Не перебралась.

Умчали.

Василий Игоревич вздохнул, собираясь с мыслями, и посмотрел на Юру прямо, будто прекрасно всё видел, насквозь, с усталой мудростью старого человека, который понял, что другому больно.

— Не гоняйся за теньями, командир. Поезжай к матери. Она одна тебе всё скажет. Коли захочет. А я что... старый пень. Что девчонка с улицы услышит, то и мне перескажет.

Юра долго стоял, переваривая. Здесь больше не было ответов. Только указатель.

Он кивнул, больше себе, чем старику.

— Спасибо, Василий Игоревич.

Уже у двери взгляд упал на чай, треснувшие очки, бедную

похлёбку. Хотя старость и не лечится, но семейного врача вызвать можно. И девчонке за хлопоты помочь хоть продуктами.

— Я к матери съезжу, — сказал он уже спокойнее. — Вернусь, зайду. Договорились?

— Договорились, командир... — В голосе старика прозвучала слабая искорка благодарности. — И удачи тебе, Юр.

Когда он прикрыл за собой дверь, холодный воздух ударил в лицо, как пощёчина, зато внутри уже горел чёткий план: Ласточкин остров — мать — правда. А потом он найдёт и пришлого Сеньку, и того слугу, что забирал почту. Ниточка за ниточкой. Ему был нужен адрес. И он его получил. А ещё он получил подтверждение: здесь, в этом доме, действовала система. Кто-то забирал почту. Кто-то опечатывал поместья. Кто-то «давал шанс» его матери сбежать.

Отец? Или кто-то другой?

Он бросил последний взгляд на дом Ершовых. «Надолго никто не возвращался».

«Но я вернулся, — подумал он, закуривая. — И теперь я не успокоюсь, пока всё не узнаю. Особенно о тебе, Мари».

Глава 4. Перед дорогой

До Ласточкина острова несколько дней пути. Вернувшись в пустой дом, Юра не стал медлить. Надо было действовать привычно: разведка, связь, план.

Он поднялся в кабинет, сел за отцовский, теперь уже свой, стол, достал писчую бумагу, нашёл чудом не высохшие чернила и написал три письма.

Три выстрела в неизвестность.

Первое — в контору Р. Л. фон Берга. Сухой, чёткий запрос: состояние имущества, статус членов семьи, известные адреса, необходимые действия по факту его возвращения. Он сообщил о чине и факте возвращения, приложил копии документов. Пусть знают, с кем имеют дело.

Второе — в городскую канцелярию. Уведомление о прибытии, запрос по статусу дома. И хитрый ход, родившийся из фронтовой смекалки: соседнее владение Ершовых, не является ли оно городской собственностью? Если нет, то кто подписант для купчей? Это был не настоящий интерес к покупке, а попытка раскрутить клубок, получив хоть какие-то зацепки.

Третье письмо — главное. Не официальное.

Он написал его быстро, почти без помарок, тем самым почерком, которым на фронте писали срочные донесения.

Серёжа.

Не зря оставил мне адрес. Надеюсь, застаю тебя протрезвевшим, сытым и в сапогах. Прости наш юмор.

Ты мне нужен, со всеми твоими ребятами.

Ситуация: вернулся — дома никого. Отец ушёл первым, оставив мать на бюрократическом пайке. Мать сбежала следом. Дома опечатаны. Почту восемь лет системно изымали. Сосед дал адрес матери — Ласточкин остров. У Еришовых та же пустота.

Надо найти брата, мать, Мари и Владимира Еришовых.

Что сделал: подаю официальные запросы, но от них жду мало. Основная надежда на тебя.

К матери еду сейчас. Долго не задержусь, если только обстоятельства не изменятся. Пиши мне до востребования на главпочтамт. Заберу по возвращении и сразу в твою контору.

Все расходы мои. В этом не сомневайся.

P.S. Не против стать моим поверенным? По старой дружбе и новому делу.

Желаю женецин, вина и чтоб голова не болела. Юра Б.

Он отложил перо.

Последние годы изменили его. Один в поле не воин. Эту простую вещь он усвоил слишком хорошо. Ему нужны были все ресурсы: законники, сыщики, связи, люди. Хватит бегать по опустевшим комнатам и выпытывать правду у полу-

слепых стариков. Пора воевать за свою жизнь другими методами.

Но с матерью — только лично.

Даже если придётся трястись через пол России. Не при-
выкать.

Некстати в памяти всплыло её лицо в то утро. Не холодное и отстранённое, а оглушённое, застывшее в немом предощущении. Её редкие, пугающие своей непривычностью слёзы.

Юра резко оттолкнул это воспоминание.

Сентиментальность перед операцией — плохой компаньон.

— Сначала разведка, связь, план. А уж потом атака, — пробормотал он в пустой комнате. — Так, кажется, ты, Серёж, говорил? Ну вот и посмотрим.

Письма он хотел отправить лично.

«Эти, казённые, не пропадут? Или почта и их из списков исключит?» — горькая усмешка скривила губы. Он погасил её усилием воли. Брови сошлись хмурыми, решительными дугами.

Но отправить тем же днём не удалось, почтамт уже закрылся. Юра повалился на кровать, не раздеваясь, и уснул почти мгновенно, усталость с дороги просто навалилась и взяла своё.

Разбудил его слабый луч света, упавший на щёку. Он сел и только теперь заметил, что лёг прямо в одежде, поверх пыльного покрывала.

В голове блуждал сон, вернее, его концовка.

Мать поправляет ему воротник выверенным движением сухих пальцев, и гладит по щеке.

— Ну вот, всё и готово. Теперь в путь.

Во сне она была привычной: строгой, немного отстранённой, собранной. Только в самом конце позволила себе тёплое прикосновение.

Юра потрянул головой, отгоняя уже не сон, а воспоминание, слёзы в её глазах при прощании.

— Чепуха. Нервы.

Поборовшись со старой печью за таз горячей воды, кое-как умылся, вытерся пыльными тряпками и наткнулся на старую отцовскую бритву с костяной ручкой.

Щетина уже начинала напоминать ту самую бороду, которую он терпеть не мог. Тёмная, южная, выдающая кровь. Голубые глаза, тёмные волосы, светлая кожа. Когда-то Мари дразнила его за неё падишахом из сказок Арины Петровны.

— Так и родинку видно на щеке, и улыбка у тебя красивая. А с бородой её и не видно, ты слишком тёмный и вообще словно не ты, а басурманин какой-то, — говорила она, морща нос. — Чудо как хорошо, что сбрил.

Надо ли говорить, что Юра регулярно и методично ликвидировал только начинавшую появляться щетину. Отчаянно хотел ей нравиться. Боже, как давно это было...

Сейчас он намылил лицо, аккуратно сбрил щетину, посмотрел в зеркало. Оттуда глядел всё тот же усталый солдат.

С той раздражающей разницей, что казался моложе. Если бы не белые нити на висках, сошёл бы за мальчишку.

«Вряд ли бы ей понравилось: ни то, ни это», — пронеслось в голове.

Питерское солнце было обманчивым, с утра прихватывал холод. Юра повесил шинель в шкаф, аккуратно расправив полы привычным жестом, набросил дорожную накидку. Да и пора бы сменить военное на штатское. Забрав небольшой чемодан и бумаги, вышел на улицу, не задумываясь о том, покидает ли он отчий дом окончательно. Аккуратно прикрыл дверь.

Надо было найти, где сытно поесть. Во всей этой колготне и погонях за прошлым он позабыл о хлебе насущном. Но первым делом был почтаamt. Потом билеты.

Он прикурил, убрал спички в карман, и рука автоматически поднялась поправить стойку воротника шинели, как будто та всё ещё была на нём.

Дальше весь день превратился в беготню и склоки.

Несколько часов пришлось провести в канцелярии исполкома. Билет Питер — Москва — Воронеж было невозможно добыть ни на текущую дату, ни на ближайшие недели.

Очередь толкалась локтями и отдавала запахом лука, семечек и сырого сукна, ругалась и спорила.

— Я со вчера записывался, ты вообще кто такой?! — Не видел я тебя в списке, здесь с утра я первым был! — Какой с утра, говорю тебе, с ночи стоим, засунь себе свой утренний

список... — Но-но, не было тебя здесь утром, так что пошёл бы ты по холодку, пока в морду не прилетело, рожа буржуйская! — Сам ты буржуй, я с ночи занимал. А ну, поди сюда, шантрапа мелкая!

Завязалась некрасивая драка. Когда подросел милиционер, кассирша уже кричала, что билетов нет и не будет.

Народ начал расходиться, остались лишь самые упорные. — А я вам говорю, билетов нет! — почти с наслаждением крикнула женщина в окошке и попыталась захлопнуть створку.

Юра рефлекторно успел подставить руку.

— На какие даты будут? — спросил он тихо, но так, что она замерла.

— Я ж тебе не справочная!

— А я вам не мальчишка. Когда откроете продажу?

— Товарищ городской! — зычно гаркнула покрасневшая тётка и потом немного сбавила тон, поправляясь. — То есть товарищ милиционер! — Товарищ милиционер! — рявкнул Юра, снова повышая ноту, да так, что толпа за ним замерла, как в детской считалочке «море волнуется». — Просьба подойти к кассам!

Кассирша потеряла краснощёкость и нервно скривилась. Юра не любил этого, но знал: в такой ситуации нельзя давать слабинку. «Вежливость — лучшее оружие вора, а взаимовежливость — судьи», как говорил атаман.

Потом был участок, затем райисполком, после него сек-

ретариат. Везде приходилось показывать бумаги, давить, не переходя на крик, и быть полезным ровно в тот момент, когда тебя хотели сжевать и выплюнуть.

Помогли рекомендательное письмо, напор и взятые на себя обязательства «сопроводить родственницу» помощника прокурора.

— Сонька! — окликнул в секретариате лощёный чиновник. — Приданое, смотри не забудь. И приветы Алексею Демидовичу.

— Он будет очень рад! — вскинулась она, и губы презрительно изогнулись. — Всенепременно... — усмехнулся чинуша, кивая с недоброй улыбкой, явно демонстрирующей совершенно обратное. — Товарищ, обратный выписали на предъявителя, действителен до даты, без выбора места.

Юра развернулся, сжимая в кулаке три картонных прямоугольника, пахнущих типографской краской и унижением.

Навязанная попутчица, та самая, в котиковой шубке, поспешила за ним тяжёлым, рубленным шагом. Казавшиеся в конторе стройными ноги косолапили, на телесных фильдекосовых чулках и подоле юбки чернели пятна от луж. Удавка искусственного жемчуга на шее поблёскивала тускло, как глаза мёртвой рыбы.

Он пытался на неё не смотреть.

Они зашли в привокзальную столовую. Взяли солёных огурцов, печёный картофель, хлеб, немного сала. До отправления времени оставалось в обрез.

— Ну и место, — вытащила платок Соня, прижав к носу.
— Пахнет так, будто тут ночуют прямо в котлах.

— Пойдём, — коротко бросил Юра, подхватывая свой портфель и её чемодан. — Сейчас перекурю и двинемся. В толпе на перроне не до того будет.

— А что, без папирос никак? Нервы сдают?

Он резко остановился, так что Соня чуть не впечаталась ему в спину. Поставил вещи, чиркнул спичкой.

Рядом раздалось:

— Парень... закурить не найдётся?

Голос был сиплый, выдохшийся, без интонации. Просто ритуал.

Юра повернул голову и увидел мужика в шинели. Не просто в шинели, а в его шинели. В такой же точно, что сейчас висела в шкафу в пустом кабинете. На чужом плече она обвисла мешком, рукава были длинны и потёрты. Бурые пятна на одном из них. Левая кисть мелко, неумолимо дрожала, как птица с перебитым крылом.

«Не та на тебе шкура», — подумал Юра.

— Не только закурить, — тихо сказал он и шагнул вперёд.
— Прикурить дать могу. Или дать прикурить. Выбирай.

Это был не вопрос и не угроза. Это была граница двух миров. Мира тех, кто уже сдался, чьи руки предали их, и мира тех, чьи руки, грязные, в ссадинах, с жёсткими мозолями на пальцах, всё ещё помнили и вес оружия, и точность прицела. Помнили тепло кожи Мари под подушечками пальцев у вис-

ка. Помнили, как выводили буквы в письмах, которые так и не дошли. Граница, которую не стоило пересекать.

Мужик отпрянул, увидев в нём не молодого барина, а того, кого эта шинель сшивала по-настоящему с пылью дорог, пороховой гарью и волей к жизни, которую уже нельзя отнять. Он что-то буркнул и поспешил прочь шаркающей походкой, унося чужую шинель и своё окончательное поражение.

Юра стоял, следя за ним взглядом. Желудок был сжат в тугой, холодный комок. Да, он мог стать вот этим. В этой же шинели, с этой же дрожью. Система работала именно на то, чтобы перемолоть его в такую безымянную труху, без имени, без памяти, без права на собственный взгляд и боль.

Вот уж нет.

Пока руки помнят. Пока есть злость. Пока сердце ещё умеет различать, где он, а где уже нет.

Когда он обернулся, Соня смотрела на него широко раскрытыми глазами. Уже не с брезгливостью, а со страхом.

— Пойдём, — повторил он и зашагал к перрону.

Глава 5. В поезде

В вагон набились люди, полупьяные, полуголодные, злые, сонные и разбитные. Всякие. Стекло в окне было треснуто, а в верхнем углу зияло аккуратное круглое отверстие. «Выстрел», — подумал Юра. «Странно, что не заколотили доской».

Из-за тесноты холод немного отступал, но накатили запахи. Пот, спирт, мужские ноги, тухлые яйца, испорченное мясо, махорка. Не сказать, что это особенно раздражало: он нюхал разное и знал, это всего лишь грязные люди и протухающая пища, не более. Прикрыв глаза, Юра попытался отвлечься.

Вспомнилось, как он впервые припустил на лошади по имению. Гнедая была быстрая, как пуля. Он промчался вдоль кромки леса: ветер пах хвоей, листвой и свежестью. А потом с упоением рассказывал об этом Володьке и Мари.

— Да у тебя глаза блестят, смотри шею не сверни, всадник, — подшучивал Володя. — Я вот раз с Грозного рухнул, и хорошо, что только вывихом отделался.

— А ты промчи вдоль пастбища, куда Кузьмич скотину гоняет, — совершенно серьёзно вставила Мари. — Интересно, как будет пахнуть навоз на полном скаку?

Они оба расхохотались.

— И вовсе не смешно! — фыркнула она, едва не плача от

собственного смеха. — Мне правда интересно!

Смеялись уже втроём.

— Не так уж и плох запах навоза, — пожалала она плечами, успокоившись. — Для меня это запах деревни. А я её в общем-то люблю.

— Хочешь, закажем тебе духи у парфюмера: «À la navoz»? — подёргал бровями Володька, хитро улыбаясь во всё лицо. Он не сумел состроить столь же серьёзную мину, как Мари, но эффект всё равно был достигнут.

— Не-е-ет, — стонала она сквозь смех.

— Мухи на балу, конечно, совсем не к месту... но оригинально, — самым рассудительным тоном добавил тогда Юра.

Он поймал себя на том, что улыбается этим воспоминаниям. Обе его пропажи, любимая и друг, вдруг стали почти осязаемы. Пропажи, которые он всё равно найдёт.

— Боже, какая же вонь! — простонала рядом Соня.

Она вытащила белый платок, пузырёк с отбитыми краями и, побрызгав на ткань, стала время от времени прижимать её к носу. Через несколько минут раздражённо буркнула что-то себе под нос и уже стала брызгать духами прямо вокруг себя.

Запах был сладкий, тяжёлый, едкий — такой, от которого хочется отсесть подальше и не дышать.

Не прошло и минуты, как Соне стало дурно. Её затошнило, и было видно, как трудно ей удерживать себя в руках.

— Вот вам и женская доля, — прошипела она. — Родишь наследничка, а тебя потом, как использованную тряпку. Все

мужики одинаковы. Только ценник у каждого свой.

Юра молча отвернулся.

Не все одинаковы. Просто не всем это объяснишь.

И в памяти всплыл другой воздух. Конец шестнадцатого. Госпиталь после Вердена. Ранение неглубокое, но обширное, заражённое, потому что после боя было не до раненых. Многих можно было бы выходить, если бы не проигранное время. Но ему повезло.

Он вспомнил, как приходил в себя после горячки. Заметил сестру милосердия, не то чтобы красавицу, но с ясным, добрым лицом и удивительно спокойными руками. Она не суежилась, не сюсюкала и не делала из боли спектакля.

Поначалу они почти не говорили. Потом стали понемногу: во время дежурств она рассказывала о своём детстве в Петербурге, о своей учёбе, о каких-то смешных мелочах. С ней оказалось легко. Почти так же, как с Володькой или с Мари: казалось, можно рассказать всё, и ты откуда-то знал, что тебя поймут, и поймут верно. Они не говорили о войне, потому что и так знали её изнанку. Между ними возникло тихое понимание двух уставших, но не сломленных людей. Он не пытался быть героем: видел её простое, тёплое отношение к измученному мальчишке. Да и ей не нужен был герой. Скорее человек.

Когда рана снова забродила, Оля выхаживала его, почти не отходя. В бреду он схватил её за руку, звал «мама», потом — «Мари».

Позже он мучительно смущался этого. Она — нет. Просто сказала:

— Всё хорошо. Выживешь. Держись.

Он до сих пор испытывал что-то щемящее внутри, какую-то неуловимую грусть, когда мысленно касался тех дней, Оли. Можно сказать, благодаря ей, он снова начинал ходить.

Однажды вечером, дежуря у окна, она сказала, не глядя на него: «Вы её очень любите. Ту, чьё имя звали». Юра промолчал, а потом кивнул: «Да. Больше жизни».

А потом бомбёжка. Стекло посыпалось в палату, и она инстинктивно бросилась не под койку, а к нему. Закрыла его собой от осколков.

Именно это запомнилось сильнее всего: не её слова или глаза, а то, как она потом отряхивалась, смущённо и почти виновато:

— Извините. Само собой как-то.

Тогда в нём что-то лопнуло, с оглушительным звоном. Ему дико хотелось тепла, живого, настоящего человеческого тепла, а не воспоминания о нём. И он испугался сам себя.

На следующий день он, помогая Оле перевязывать другого, случайно коснулся её руки. Она вздрогнула и посмотрела на него. В её глазах не было служебной заботы, а трепет, надежда и готовность. Нельзя скрыть то, что есть и выказать то, чего нет. Сердце отдавалось бешеным ритмом в висках. Юра сказал: «Спасибо, Ма...» И замер. Он почти назвал её

Мари. Не в бреду, а в ясном уме. От смущения, от боли, от смешения чувств.

Оля только тихо улыбнулась. И в этой улыбке было столько грусти и понимания, что хотелось отвернуться.

— Всё в порядке, Юрий Александрович. Я не она. И не хочу быть ею на время.

Когда его выписывали, она проводила его до ворот и сказала:

— Я не верю, что Бог нас наказывает. Думаю, мир просто жесток. Но я верю в одно: одна-единственная настоящая любовь даётся человеку как компас. Чтобы он не потерялся совсем в этом аду. Ваш компас — она. Идите по нему. Найдите свою Мари. Потому что иначе всё это, и мои дежурства, и ваши раны, и вся эта проклятая война, — всё будет окончательно и бесповоротно зря.

Он тогда взял её руку и приложил ко лбу — не как руку женщины, а как руку святой.

— Прости меня.

— Не за что. Иди.

Так что нет, подумалось ему теперь, люди бывают разными. Оля — чистая, светлая, отпускающая. Соня — грубая, цепкая, озлобленная и насквозь фальшивая...

В этот момент из угла поднялась женщина лет пятидесяти с простым, усталым лицом. Из тех, кто повидал всякое и уже не тратит сил на лишние выражения.

Она дотянулась до сумки, лежавшей неподалёку под ска-

мьёй, и стала молча копаться в узле, что выудила оттуда, достала крынку с солёными огурцами, каравай, завёрнутый в тряпицу, и большую шерстяную шаль.

Подошла к Соне. Не глядя на Юру, низким хриловатым голосом сказала:

— На, детка. Закуси. От тошноты помогает. И с голоду не помрёшь.

И сунула ей в руки огурец и ломоть хлеба.

Соня посмотрела на неё растерянно, почти затравленно. Её циничная маска дала трещину.

— Да вы что... Я не...

— Ешь. Не ломайся.

Женщина отломила и себе кусок, громко захрустела огурцом, словно показывая: всё в порядке. Присев поближе к Соне, развернула шаль.

— И ноги у тебя голые. Простудишься и ребёнку хуже будет.

Она укрыла шалью сначала колени Соньки, потом свои, одним движением создав общее тёплое пространство.

Соня замерла. Потом губы её дрогнули. Она откусила хлеб, и слёзы, самые настоящие, не для манипуляции, показались по щекам, смывая часть румян. Она отвернулась к окну, пряча лицо.

Юра смотрел на это и вдруг увидел не вульгарную девушку, а просто испуганную, не очень умную девчонку, которую везут к богатому любовнику, потому что больше ей деваться

некуда.

Женщина поправила сползшую шаль у неё на коленях, и этот жест, точный, хозяйский, почти животный в своей заботе о тепле и сытости, вдруг высек в памяти искру.

Их кухарка Таня когда-то точно так же заворачивала в свой платок замёрзшую дворовую кошку с перебитой лапой. Тот же набор действий: занести в тепло, накормить, дать выжить. Без сантиментов.

Юра с неприятной ясностью понял, как узко смотрел ещё час назад.

Что бы сделала Мари на его месте? Смотрела бы на Соньку с таким же отвращением? Или, как эта женщина, молча пододвинула бы хлеб?

Кто он тогда? Кто прав? Сонька, которая продаётся? Эта женщина, которая не осуждает, а кормит и укрывает? Или он, который слишком долго делил мир на чистых и грязных, своих и чужих? Который был готов растоптать в другом своё же отражение в шинели?

Женщина доела, завернула остатки, кивнула Юре без вражды и прикрыла глаза. Соня перестала всхлипывать, уткнулась в окно и постепенно уснула, положив голову ей на плечо.

Юра отвернулся к стеклу. Но видел там уже не тьму, а собственное отражение поверх ночных огней. И в этом отражении не было ни героя, ни мстителя. Только уставший мужчина, который слишком долго держался за слишком простые

деления.

Когда поезд затормозил на полустанке, женщины вышли. Перед тем как исчезнуть в темноте, пожилая обернулась и коротко кивнула ему, просто отмечая его присутствие, как факт.

«Ты здесь. Я здесь. И ладно».

Юра остался у треснутого окна один. Достал папиросу, но не закурил, а просто вертел её в пальцах. Руки помнили. Винтовку. Тёплую шею Мари. Бумагу писем. Всё.

«Обсудим», — всплыло её слово.

Теперь оно звучало не как обещание, а почти как приговор. Обсуждать можно только то, что уже случилось. А он ехал не за фактами. Он ехал в эпицентр землетрясения, разрушившего его мир.

И страшнее всего ему была не ярость, а тишина после.

Поезд дёрнулся и пополз дальше, к Ласточкину острову, к матери, к правде. В сторону моря и неотвратимого утра.

Глава 6. Ласточкин остров

Последние вёрсты до Ласточкина острова Юра проделал на рыбацком баркасе. Ветер с моря был сырой, солёный и злой. Он лез под воротник, забирался за пазуху, пробирал до костей, напоминая одновременно и о холодных осенних караулах, и о тех сыроватых окопах, где никогда толком не высухали ни сапоги, ни мысли. Только здесь пахло не гарью и кровью, а йодом, гнилыми водорослями и ещё чем-то стариковским, безысходным, как на пустом берегу после шторма.

Дом на острове стоял низкий, длинный, побелённый когда-то, а теперь облезлый, с потемневшей от ветров штукатуркой. Не усадьба, не дача, а скорее больничный флигель или сторожка при чужом, давно закрытом санатории. В двух окнах горел жёлтый свет. Слабый, скупой. Не домашний даже, а рабочий, как будто его зажгли не для встречи, а просто потому, что пришёл час зажигать лампу.

Юра сошёл на причал. Под сапогом хрустнули раковины. Он машинально посмотрел вниз. Белые, розоватые, серые, все битые, сточенные, перетёртые в крошево. «Всё выносит, всё уносит», — вспомнились слова старика Ворохова. Волны за спиной глухо гудели. Это показалось ему дурным знаком, хотя в дурные знаки он не верил.

Он поднялся к двери. Ни звонка, ни колокольца, только доска с щелью для писем. Постучал. Звук получился незна-

дѣжный, словно уходящий в вату.

Шаги внутри были неспешные, ровные, без суеты. Таки-ми, какими они были всегда, размеренными, предсказуемыми. Так ходила мать, когда хотела держаться прямо, даже если внутри всё дрожало. Ни за что не покажет. Ни на шаг не собьѣтся. Сначала это раздражало его в детстве, потом смешило, теперь почему-то ударило прямо в сердце. Он готовился к бою, а здесь его встречал тот же ледяной, выверенный порядок.

Дверь открылась.

Анна Артемьевна стояла на пороге с лампой в руке. Не распавшаяся, не обрушившаяся, не сломленная. Сухая, прямая, в тѣмном платьѣ, почти чѣрном. Волосы убраны по-прежнему аккуратно, только седины стало куда больше, а скулы заострились. Но глаза... глаза всё портили. В них было что-то такое, что не укладывалось ни в строгую мать, ни в брошенную жену, ни в барыню, ни в жертву. Как будто она все эти восемь лет жила внутри одного-единственного страшного ожидания.

— Юра, — сказала она так тихо, будто боялась спугнуть его одним лишним звуком.

И всё.

Ни «слава Богу», ни «сын», ни слѣз. Только имя.

— Матушка, — хрипло отозвался он.

Она на мгновение прикрыла глаза, будто это слово пришлось ей не по сердцу, а по старой привычке.

— Заходи. Я знала, что ты приедешь.

Он вошёл следом за ней в маленькую гостиную. Стол был накрыт заранее. Самовар, чашки, блюдце с хлебом, мисочка с вареньем, ромашковый чайник в грелке. Всё скромно, даже бедно, но точно и заблаговременно приготовлено. Это было хуже слёз. Слёзы хоть что-то объяснили бы. А здесь выходило, что она ждала. Ждала молча, не умея даже этой встречи не превратить в чинную процедуру.

— Садись, — сказала она. — Ты продрог с дороги.

Юра сел. Пальцы на коленях сжались. Её голос был ровным, почти врачебным. Анна Артемьевна не смотрела на него, а изучала струйку чая. «Как много слов с порога», — подумал он. А хотелось, чтобы его обняли.

Она налила чай, пододвинула хлеб и, не глядя ему в лицо, спросила:

— Рука всё так же беспокоит? И спина? Ты тогда в семнадцатом писал скупое. Я не поняла, насколько серьёзно было.

Вот тут ему захотелось рассмеяться. Или ударить кулаком по столу. Или просто уйти. После восьми лет тишины она спрашивает о руке. О спине. О том, как он спал в госпиталях.

— Я жив, как видишь, — сказал он. — И даже хожу своими ногами.

Женщина кивнула, словно записывая это куда-то про себя.

— Я вижу. Но живой не значит целый.

— Рука зажила, — словно рапортом выдал он. — Хрящ

ноет к непогоде, но стрелять могу. Контузия... шум в ушах прошёл. Ноги... зажили. Всё в порядке. Ты хочешь узнать что-то ещё конкретное?

Он произнёс последнюю фразу слишком резко. Она молча кивнула. Потом её взгляд медленно поднялся к его лицу, к синеве под глазами. Анна Артемьевна впервые за всё время посмотрела прямо.

— Ты спишь по ночам? — спросила она.

И вот это как раз его почти добило.

Потому что вопрос попал не в руку и не в спину, а в самое нутро. В ту тетиву, которая в нём была натянута давно и всё никак не могла ослабнуть.

Он резко отставил чашку.

— Ты сейчас серьёзно, мама?

— Более чем.

— Как мне спится?! — вырвалось у него хрипло. Он отшвырнул стул, встал во весь рост, задев стол. Чашки звякнули. — Ты спрашиваешь, после всего?! Ты, которая... — Он задыхался, тыча пальцем в её сторону. — Ты только что сказала — «писал скупно». Значит, получала. Ты читала! И могла отправить ответ! Могла! Так почему ни строчки?! Ни звука? Хотя бы «живы, здоровы»! Хотя бы «я здесь»!

Его трясло. Но Анна не отпрянула. Она сидела, застыв, вцепившись руками в кромку сиденья, словно стул мог потерять опору.

— Я не могла писать тебе правду, — тихо сказала она. —

И лгать не могла. Это было... хуже, чем ложь.

— А то, что было, значит, лучше?

Она подняла голову. И в голосе её вдруг появилось что-то живое, злое, уязвимое.

— Что я должна была тебе написать? Что твой отец ушёл? Что Пётр... — она запнулась и проглотила конец фразы. — Что всё рухнуло? И что бы это дало тебе там, на фронте? Ты бы только погиб раньше.

— А так я должен был жить в блаженном неведении? Очень милосердно.

— Не в неведении. В надежде.

— Надежде на что? Что никто не отвечает просто потому, что почта дурно работает? Что вы заняты? Что я вам больше не нужен? Или что вас всех пожрала война и черви на Ново-девичьем? Что?!

— Не смей, — быстро сказала Анна.

— Почему не сметь? Ты сама всё так устроила. Или позволила устроить? Ты знала, что я жив. Я этого о вас не знал!

Юра видел, как ей тяжело держать лицо, но сейчас это не вызывало жалости. Только злость. Слишком поздно.

Она молчала, потом вдруг сказала совсем другим голосом:

— Я знала, что ты спросишь, — выдохнула мать; голос стал глухим. — О ней. О письмах. Я... не могла написать правду. И врать не могла. Это была сделка с дьяволом, Юра. Соврать один раз молчанием. Пока я жила с отцом, всю по-

что забирал и отправлял он. Потом — его человек. Если бы я написала тебе... он лишил бы нас всего. Наследства. Обеспечения. А потом, здесь... Когда его не стало...

Упоминание Мари прозвучало, как нож. Она замолчала, словно проживая болезненный эпизод. Лицо стало бледным, приобретая пепельно-серый оттенок. Потом взгляд медленно вернулся к Юре.

— Я многое должна была написать, Юр. Я не смогла, — сказала она ровно, но эта ровность была хрупкой.

— Прекрасный ответ.

— Не думай, что я волновалась о деньгах! — Её голос вновь сорвался, предавая хозяйку. — Зная, что тебе там, на той бойне, плохо... я не могла на тебя всё это свалить! Ты должен был выжить! А для этого тебе нужна была... хоть какая-то надежда! Пусть даже ложная!

Юра медленно наклонился вперёд.

— Красиво. — Ему захотелось сплюнуть на пол. — Говори по-человечески.

Анна Артемьевна прикрыла глаза.

— Что?

— Правду, мама! Правду! Про Мари, про Петю!

— Что твой брат, единственный, кто остался верен присяге, отрёкся от нас, как от перебежчиков? Что он променял родных на польский флаг? Что отец бросил нас? И что он объявил Мари любовью всей своей жизни, и они уехали вместе? Это ты бы хотел прочесть?

Юра онемел.

— И я своей рукой, — продолжала она, и каждая фраза была как удар ножом, а голос лился на удивление ровно, — должна была тебе написать, что она... Что Мари уехала. Добровольно. Выбрала его. И что с тобой стало бы тогда, на фронте? Скажи!

Она замолчала. В её глазах стояли слёзы, выжигающие изнутри.

— Все бросили нас с тобой. — Сухим итогом выдала Анна. — Я не могла сказать... Не знала, как...

Юра замер.

— И ты в это поверила?

Она отвела взгляд и долго молчала, пытаясь совладать с дыханием.

— Я надеялась, если ты узнаешь, как это выглядело... что она уехала по своей воле...

— Ха! — Вырвалось у Юры почти истерическое куда-то в потолок. Он начал мерить шагами комнату, нервно разминая левой рукой пальцы правой, которая пыталась сжаться скрюченной судорогой в кулак. Анна вдохнула глубже и продолжила.

— Я говорила с Сергеем Мироновичем... Это...так. Юрочка, — голос треснул, — это бы и тебя раздавило. Я думала уберечь тебя от этой...грязи. А потом ты остыл бы. Ты поймёшь...

— Пойму что? — Он подошёл к ней, наклонился, обло-

котившись одной рукой о стол, а другой о спинку её стула, и заглянул в глаза. В них был затравленный, отчаянный страх, смешанный с чем-то ещё, горьким, смертельно ядовитым, почти болезненным. Она качнулась несколько раз, словно пытаясь совладать со спазмом или порывом, сохранив лицо. Но маска слетела.

— Поймёшь, что она не та! — Голос матери зазвенел прорывным торжеством отчаяния. — Что могло двигать ею, шестнадцатилетней девчонкой, кроме денег или расчёта, чтобы уехать с Сашей? Что? Сергей Миронович, а ты прекрасно помнишь, что он в дочери души не чаял, отпустил её с чистым сердцем! И ты знаешь, что это значит! Вот такая она, твоя Мари!

Женщина выплюнула яд и продолжила, пытаясь приводить доводы:

— А так ты бы никогда не узнал достоверно, могла ли девчонка влюбиться в мужчину старше своего отца. По любви или за деньги — неважно, ты бы забыл. — Взгляд её стал лихорадочным, и с каждым словом она будто убеждала уже не его, а саму себя. — Всё равно никто не знает, где она сейчас, даже фон Берг.

— Ты её боишься, — тихо сказал Юра.

Мать резко вскинула голову.

— Что ты сказал?

— Боялась. Потому что она была молода. И ненавидела, потому что он выбрал её вместо тебя.

— Замолчи! — Вырвалось у неё надорванным, животным звуком, но Юра продолжил.

— Потому что тебе легче было поверить в её расчёт, чем в его мерзость. Нужно было. Знаешь почему? Ты на что-то надеялась. Это мне надеяться не положено. Ты за меня всё про себя уже решила.

Она резко отодвинулась. Лампа качнулась, и тень метнулась по стене. Он опустил руки, выпуская мать и давая ей встать. Анна вскинула голову выше, и на лице вновь появилось до боли знакомое выражение. В комнате словно повеяло холодом.

— Не смей говорить со мной так.

— А как с тобой говорить? Как с бухгалтером? Как с жертвой? Как с матерью, которая восемь лет молчала?

— Я делала, что могла!

— Нет. Ты делала, что могла вынести.

Она открыла рот, будто хотела ответить резко, но вместо этого вдруг устало сказала:

— Иди к Бергу. Если тебе нужна форма. Документы. Адреса. Всё это у него. У Роберта. Он тебе разложит по бумагам.

— Мне не нужен бухгалтер, матушка.

Эти слова он почти выплюнул. Вышел в прихожую, схватил свою дорожную накидку. Из кухни показалась худенькая девчонка с узелком.

— Это вам в дорогу, — пробормотала она, не поднимая

глаз. — Анна Артемьевна велела. Хлеб ещё тёплый. И сыр.

Юра взял свёрток машинально.

— Она... всегда так, — добавила девчонка совсем тихо.
— С того дня, как закончилась война. Каждый день к этому часу ставит самовар с ромашкой. И хлеб велит печь. Говорит, мало ли...

Он посмотрел на неё пристально.

— Мало ли что?

— Мало ли вы вернётесь. Говорит, Пётр Александрович, братец ваш, свежий хлеб любит, а вы... ромашковый чай.

Вот это было почти невыносимо.

Не слова матери. Не её оправдания. Не даже Мари. А то, что все эти годы она, может быть, вправду держалась за чайник, хлеб и порядок, как за последний способ не сойти с ума.

Юра молча сунул узелок под мышку и вышел навстречу ветру. Свёрток с хлебом обжигал ладонь сквозь ткань. Он шёл по ракушечному берегу к причалу, не видя ничего перед собой.

Море за домом гудело тяжело, как будто тоже было недовольно тем, что правда опять оказалась не правдой, а полуправдой, и опять из неё торчали острые, ржавые края.

Глава 7. Дорога обратно

Он сел в качающуюся на волнах лодку. Рыбак что-то крикнул, отталкиваясь от берега. Юра не ответил. Он смотрел на удаляющийся огонёк в окне дома, где женщина, только что назвавшая его любовь грязной и продажной, теперь, наверное, молча убирала со стола нетронутые чашки. И заваривала на завтра новую порцию ромашкового чая. На всякий случай. Вдруг.

Это было хуже любой ненависти: непрощаемо и абсурдно.

Он так и не оглянулся больше, когда лодка причалила к материке. Узелок с хлебом, ставший теперь остывшим и тяжёлым, словно гиря, болтался в его руке. Дорога до станции слилась в одно мутное пятно под ногами. Звуки мира доносились будто сквозь толщу воды: крики грузчиков, гудок паровоза, плач ребёнка. Всё это не имело к нему отношения. Внутри царила оглушительная, парализующая тишина после того шторма откровения. Как после близкого разрыва, когда сначала звенит в ушах, а потом медленно начинаешь понимать, что ещё жив и надо снова считать людей, патроны, дорогу.

Только когда он втиснулся в вонючую теплушку, прислонился к липкой от грязи стене и почувствовал, как содрогаются и трогаются вагон, эта тишина начала заполняться иным гулом, гулом нарастающей мысли.

В тёплом, спёртом воздухе теплушки, под drobный стук колёс, в голове Юры назойливо, как заевшая пластинка, крутилось одно слово: «добровольно».

Добровольно уехала. Добровольно не писала. Добровольно исчезла. Добровольно отдала себя на растерзание чужой жизни.

Про Мари говорили так, будто она или соблазнила отца, или дала ему согласие, или её вовсе уже и не было как живого человека, а был только скандал, который надо как-то уложить в приличные слова.

Юра прикрыл глаза, пытаясь не додумывать последнюю мысль, по позвоночнику пробежал холодок от самой макушки куда-то в пятки. Если такая мысль вообще придёт, то пусть последней.

От этого захотелось вернуться и встряхнуть из матери что-то ещё: уже не слова, а настоящую правду, если она вообще ещё осталась под всеми этими слоями стыда, страха, гордости и женской злобы.

Он с силой разжал кулаки, почувствовав, как ногти впились в ладони.

Но если отставить в сторону всю эту... обиду. Просто подумать. Зачем изолировать Мари? Системно изымать её почту? Так фундаментально замечать следы? Организовывать переезд как продуманную военную операцию? Общаться с матерью через письма поверенного? Отец ведь не писал ей напрямую, о чём явственно сказали те бумаги в кабинете...

Такое у тебя «добровольно», матушка? Чёрта с два. Не клеится ваше папье-маше!

Взгляд упал на вновь автоматически сжатые пальцы. От этой гасительной реакции, дошедшей до автоматизма, никак не получалось избавиться. Юра резко выдохнул, разжал их, положил ладони на колени и смежил веки, отсекая внешний мир.

И только теперь он позволил себе впервые за всё время собрать услышанное не сердцем, а головой.

Письма забирали, значит, надо найти Сеньку. Отец держал мать на привязи не только деньгами. И после его ухода система не рассыпалась сама собой. Поверенный должен быть в курсе многого. Мари исчезла так, как исчезают не беглянки, а люди, за которыми следят. Пётр тоже исчез слишком удобно. Надо искать Петра и Володю, а с этим лучше к Сергею. Всё это не семейное безумие, не одинокая женская истерика. Это дело.

Эта мысль была холодной, почти сухой. И именно поэтому полезной.

Сначала понять. Потом найти. Потом уже всё остальное.

Он глубоко затянулся папиросой и впервые за этот день почувствовал не облегчение, нет, но что-то похожее на возвращение опоры под ноги.

К вечеру нужно было быть у Сергея.

Главный риск — время. И та самая ярость, которую он загнал в чулан сознания, но она билась там, грозя сорвать

всё одним неверным движением. Терпение. Терпение и точность. Один неверный шаг, и след исчезнет навсегда.

Он открыл глаза. В окне серело. Не было усталости. Было напряжённое, звенящее состояние перед атакой. В кармане пальцы сжали уголок записки. Всё ещё талисман. Но теперь ещё образец почерка, как вещдок.

Поезд, фыркая, ещё не замер под сводами Николаевского вокзала, а Юра уже спрыгнул на перрон, не дожидаясь полной остановки. Холодный, пропитанный угольной гарью, воздух вокзального Петрограда ударил в лицо, но внутри горел уже чёткий маршрут. Он поймал первого попутного извозчика и назвал короткий адрес на Гороховой, в полуподвал, который теперь должен был стать его штабом. Отсюда всё и начнётся.

Глава 8. В конторе Сергея

Контора оказалась открыта даже в такой час. За конторкой сидел щуплый молодой человек в пенсне. Увидев Юру, он отложил перо.

— Вынужден был выехать по одному следу, но оставил сообщение. — Он протянул руку. — Алексей Пономарёв, помощник Сергея Петровича.

— По какому следу? — тут же спросил Юра, коротко пожав ладонь.

— По тому, что вы указали в письме. — Молодой человек кивнул на бумагу. — Про «пришлого Сеньку». Сергей Петрович сказал: «Имя может рассказать многое. Найду — узнаем, кому он служил и что видел». Он этим сейчас и занят. По поводу домов ваших и ершовских... — Служащий сделал небольшой, значительный жест, будто отмахиваясь от чего-то несущественного. — Он считает легальные запросы пустой тратой времени. Дома эти всё равно отнимут, «выдав по потребностям», как теперь говорят. Искать нужно не бумаги, а людей.

Юру будто ударило током. Сергей уже в деле. И мыслит так же.

Слово «добровольно» прозвучало материнским голосом в голове, которое внутренне сразу хотелось опротестовать.

«Мы всё узнаем. Найдём», — утвердил в который раз про

себя Юра.

— Он просил передать, — продолжил служащий, — что дело запущено. Некоторая информация уже собрана. Есть один свидетель, который кое-что подтверждает. Сергей Петрович наказал: если вы появитесь, передать, чтобы за ним послали. Он приедет переговорить лично, согласовать дальнейшие действия. — Молодой человек слегка улыбнулся. — Вы же знаете Сергея Петровича. Он не успокоится, пока не будет знать все входы и выходы. А он... сейчас спокоен. Значит, он уверен, что след верный.

Юра слушал, и мышцы лица дрогнули, словно сбрасывая тот самый ледяной зажим, который держал его с Ласточкиного острова. В глазах, всё ещё острых и уставших, мелькнуло облегчение. Он встретился взглядом со служащим и кивнул медленно и весомо, со всей ясностью: ты мне помог, я это принял и отметил.

— Спасибо, — сказал он. — Он найдёт меня по старому адресу. Я обязательно его дождусь перед визитом к поверенному.

Парень кивнул и удалился в кабинет. В конторе стало тихо. Юра достал из внутреннего кармана смятый листок. Разгладил его ладонью по столу. «Не ищите». Он вгляделся в буквы. Крупные, но нечёткие, неровные — будто рука привыкла к другому наклону или писала в спешке, скрывая собственную манеру. И язык... Пётр, который в гимназии блестяще знал немецкий и мог цитировать Ключевского, не на-

писал бы это сухое, казённое «по причинам, которые они поймут». Нет. Это не его слог. Это слог канцеляриста, составившего отписку. А «Пётр» в подписи был выведен с неестественно прямым, ученическим наклоном, как учатся писать дети. Что, если Петя не уезжал? Если всё это — такой же обман, как «добровольный отъезд» Мари?

— Алексей, — позвал он, словно команда на плацу вырвалась, отрывисто и громко. Дверь открылась через пару секунд. Парень не ожидал, что гость остался. — Слушаю, Юрий Александрович. Вы вспомнили что-то ещё?

— Да. — Он протянул записку Алексею. — Это я нашёл дома в кабинете отца. Бумага фамильная, почерк странный. Мне кажется, это фальшивка. Надо найти ниточку. Любую.

Алексей бережно взял листок, поднёс к свету, скользнув взглядом по водяным знакам с тем же деловым спокойствием, с каким принимал все поручения.

— Я всё передам. Сергей Петрович должен вернуться к ночи или завтра утром.

Юра кивнул и натянул накидку. Теперь у него были не только жгучее желание и собственная стратегия. Был первый, осязаемый результат по Мари. Серёга работал. След был. Это меняло расстановку сил. *«И теперь, возможно, есть шанс докопаться и до правды о Петре»*, — подумалось с новой, острой горечью, когда он выходил на улицу и в лицо ударил прохладный свежий ветер.

Следующим этапом значился дом. Братья. Он двинулся

по знакомой улице, шаг быстрый и ровный, но в груди под рёбрами ныла знакомая пустота. Нельзя надеяться впустую. Велика вероятность, что оба... не вернулись. Эта мысль, холодная и рациональная, шла рядом с ним, как тень. Она была не отчаянием, а оценкой рисков, которую он делал ещё на фронте перед отправкой разведгруппы.

Если за дверью будет тишина... Что ж, тогда он вернётся в свой пустой дом, дождётся Сергея, а потом — фон Берг. Операция не отменялась. Менялся лишь порядок действий.

Он свернул в свой переулок. В окне дома Ершовых горел свет.

Глава 9. Свет в окне Ершовых

Юра подошёл к дому Ершовых. Сенька? Или? Он постучал.

Шаги изнутри были неспешными, тяжёлыми. Мужскими. Дверь открылась.

Свет из прихожей упал на фигуру в дверном проёме, ослепив на миг. Юра щурился, различая сначала только силуэт: высокий, поджарый, в расстёгнутой на тощей шее гражданской рубашке. Пахло лекарственной настойкой, старыми книгами и холодным пеплом из камина.

Потом зрение приноровилось.

Юра увидел лицо, бледное, почти прозрачное на скулах. Губы тонкие, плотно сжатые. Но глаза... зелёные глаза Володи, всегда смеявшиеся первыми, сейчас были пустыми. Не мёртвыми, а остекленевшими, будто покрытыми тончайшей коркой льда. В них не было ни вопроса, ни удивления, только усталая, автоматическая фокусировка человека, слишком долго вглядывавшегося в мелкий шрифт при плохом свете. Он стоял, чуть подавшись вперёд, словно привык наклоняться к постели больного, а плечи были неестественно опущены и сведены. Правая рука, длинная, с тонкими, невероятно чистыми пальцами, едва заметно подёргивалась; большой палец машинально тёр указательный точным, выверенным до миллиметра жестом.

И вдруг эти остекленевшие глаза встретились с его взглядом.

Что-то в них дрогнуло. Лёд треснул. Мышцы вокруг глаз чуть смягчились. Уголок рта дёрнулся, потянулся вверх, и на мгновение получилась мимолётная, грустная улыбка, тут же растаявшая, но успевшая сказать без слов: «Как хорошо, что это ты».

Владимир увидел на пороге фигуру в пальто-накидке, заляпанном грязью до колен. Свет выхватил резкие тени под скулами, впалые виски, над которыми в тёмных волосах кое-где пробивались тонкие седые нити. Молодое лицо, словно состаренное под патиной. От него пахло железнодорожной копотью, махоркой и дорожным потом. Юра стоял, слегка расставив ноги, как будто качка вагона ещё не отпустила его или он по привычке готовился к прыжку. Его руки были сжаты в кулаки в старой, окостеневшей готовности. Голубые глаза, которые Володя помнил ясными, теперь сверлили пространство с тревожной, острой настойчивостью. Когда их взгляды скрестились, Владимир увидел, как зрачки Юры на миг сузились от света и узнавания. И в этом мгновенном движении промелькнула острая, почти детская радость, тут же задавленная железным усилием.

Тишина длилась три секунды. За это время они успели прочесть друг в друге годы отсутствия и один общий вопрос.

Володя первым нарушил молчание. Не улыбнулся вновь, только коротко кивнул и отступил от двери, делая шаг назад,

в тёплый свет прихожей. Его голос прозвучал тихо, осипло, но ровно:

— Заходи, Юр. С дороги, поди, продрог.

Юра шагнул через порог. Дверь закрылась с мягким щелчком. Облегчение оттого, что он не один, уже накрылось тяжёлой волной нового вопроса: что случилось, если Володя здесь, один, и выглядит так, словно вернулся с бессменного дежурства?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.